

## ДВУПЛАНЫЙ ПУШКИН

[В. Вересаев. – «В двух планах». Статьи о Пушкине. Изд. «Недра». М. 1929. Стр. 206. Ц. 1 р. 75 к.]

### Н. Прянишников

В предисловии автор сообщает, что к теме о Пушкине он был приведен «общей линией» своих «исканий» и что предыдущими этапами этой линии были Л. Толстой, Достоевский, Гомер, греческие трагики, Ницше и древнеэллинская религия.

Таким образом, Пушкин рассматривается, как один из «вечных спутников», как некая вневременная и внепространственная человеческая субстанция. Социальный аспект устранен из книги совершенно и притом умышленно, как это можно понять из заключительных слов центральной статьи сборника: «Такое понимание поэзии Пушкина, может быть, окажется более согласующимся и с социальными корнями его творчества».

Понятно, что такой подход к Пушкину неизбежно должен быть импрессионистским. Возражать против импрессионистского подхода к тому или иному поэту, вообще говоря, не приходится. Каждый, в конце концов, имеет право воспринимать поэта так, как он им воспринимается, и даже публиковать свои «восприятия», тем более что подобного рода публикации нередко вводят в оборот научно-объективного литературоведения интересные наблюдения и плодотворные догадки.

В книге Вересаева немало тех и других, да и странно было бы, если бы это было иначе: недаром автор так много занимался Пушкиным. Нужно, впрочем, сказать, что в основных своих утверждениях Вересаев не претендует на какую-либо особенную новизну, всякий раз добросовестно называя своих предшественников (Белинский, Вл. Соловьев, Гершензон). Минус книги, однако, в том, что автор слишком много доказывает и очень любит спорить. Для субъективно-импрессионистских утверждений слишком обильная аргументация и полемика с инакомыслящими – опасны. Гершензон, например, прекрасно понимал это. По свидетельству самого Вересаева, «Гершензон

не любит спорить и доказывать. Он в пауке больше поэт, чем исследователь. На возражения он часто отвечает: вы смотрите так, я так» (33). К немалому ущербу для своей книги Вересаев не последовал этому благому примеру. Его полемические выпады иногда удачны и кусательны (например, против Щеголева по вопросу о крепостном романе Пушкина), но, вынужденный в пылу полемики заострять свои собственные положения, он часто договаривается до таких вещей, которыми эти положения лишь компрометируются. Так, справедливо возражая против наивного биографизма Ходасевича (домыслы об автобиографической основе «Русалки» и «Скупого рыцаря»), Вересаев впадает в обратную крайность, которую можно назвать наивным антибиографизмом: «Кто вздумал бы судить о Пушкине по его поэтическим произведениям, тот составил бы о его личности самое неправильное и фантастическое представление» (134). Отсюда: если Пушкин воспел в «Медном Всаднике» Петербург и признался в любви к нему («Люблю тебя, Петра творенье...»), не верьте поэту, потому что в письмах его к жене и друзьям встречаются такие признания, что «Петербург ужасно скучен», «Петербург душен для поэта» и т. п.; знаменитые стихи «Здравствуй, племя младое, незнакомое...» должны быть взяты под подозрение, потому что в письме к жене поэт писал, что ему «досадно» было смотреть на молодую сосновую семью, поднявшуюся вокруг старых сосен; если Пушкин воспел Бахчисарайский фонтан («фонтан любви, фонтан живой»), не доверяйте ему, потому что четыре года спустя в письме к Дельвигу он описал этот фонтан весьма прозаически.

Все подобные случаи несовпадения поэтических и эпистолярных высказываний Пушкина приводят Вересаева в сильнейшее недоумение и дают ему повод говорить о каком-то необычайном разрыве между Пушкиным-поэтом и Пушкиным-человеком. Любопытно при этом, что, противопоставляя стихам Пушкина его внепоэтические высказывания, Вересаев усиленно подчеркивает, что в последних выражались «подлинные настроения и чувства» Пушкина, как будто в своих задушевнейших и интимнейших стихотворениях Пушкин был менее подлинным. Вересаев, конечно, чувствует всю невероятность подобного

допущения. По поводу Керн он проговаривается: «Был какой-нибудь очень короткий миг, когда пикантная, легкодоступная барынька вдруг была воспринята душою поэта, как гений чистой красоты, и поэт художественно оправдан», а в другом месте прямо признает, что в зрелых произведениях Пушкина «нет ни единой фальшивой ноты».

Отсюда, казалось бы, один только шаг до диалектически-целостного охвата личности Пушкина, охвата, на который способен всякий, даже неквалифицированный, но здравомыслящий читатель, не мудрствуя лукаво полагающий, что поэты на то и поэты, чтобы поэтизировать действительность, а особенно такие поэты, как Пушкин, который, как это доказывает Вересаев, лучшие свои лирические вещи создавал не сразу после соответствующего реального переживания, а долгое время спустя, т. е. творил воспоминания, а воспоминаниям, как известно, присуща особенная поэтизирующая сила.

Но, очевидно, нельзя безнаказанно заниматься в течение ряда лет собиранием и систематизацией «подлинных свидетельств современников» о великом поэте. Когда в результате этого собирания появился знаменитый отныне «Пушкин в жизни», то некоторые рецензенты выражали опасения, что эта книга «соблазнит малых сих», т.-е. широкого рядового читателя. Насколько это опасение было основательно, пока неизвестно, но что соблазнился, прежде всего, сам собиратель, это – несомненно. Подавленный «свидетельствами современников», он, по-видимому, не смог примирить *Dichtung und Wahrheit* поэта: иначе нельзя понять, зачем понадобилось ему реставрировать дуалистическую концепцию личности Пушкина, данную когда-то христианнейшим Вл. Соловьевым. Вопреки собственным утверждениям о неавтобиографичности Пушкина Вересаев, однако, слишком всерьез и слишком буквально принял пушкинского «Поэта» и особенно эти два стиха: «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он...». Автор «Живой жизни», когда-то восхищавшийся языческим аморализмом Толстого-художника, в отношении Пушкина становится почему-то в позу христианского моралиста, обретал и соответствующий язык: «Под поверхностным слоем густого мусора

в глубине души Пушкина лежали благороднейшие залежи». Или: «Стихи эти («Воспоминание». – Н. П.) – тоска олимпийского бога, изгнанного за какой-то проступок с неба на темную землю и рвущегося мечтой к лучезарной своей родине».

На стр. 68 Вересаев констатирует у Пушкина *«величайшее душевное легкомыслие, полную безответственность одного момента жизни* пред любым другим моментом, отсутствие основного регулирующего начала, хотя бы в какой-нибудь мере действующего на жизненные поступки человека». Вересаев рад отметить, что именно такого же мнения о Пушкине был и Хомяков. Здесь кстати будет сказать, что Хомяков, как и Соловьев, тоже – богослов, но автор, вероятно, и не подозревает, что инерция в корне неправильных рассуждений привела его к трогательной солидарности не только с богословием, но и с лицами совсем иной категории.

Вот что доносил шефу жандармов Бенкендорфу приставленный для наблюдения за Пушкиным фон-Фок: «Присоединяю к моему посланию письмо нашего пресловутого Пушкина. Эти строки великолепно его характеризуют во всем его легкомыслии, во всей беззаботной ветрености. К несчастью, это человек, не думающий ни о чем, но готовый на все. Лишь минутное настроение руководит им в его действиях» (Вересаев. – «Пушкин в жизни». Изд. 2-е. Вып. III. Стр. 17). А вот что доносил Бенкендорф Николаю I: «Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно» (ibid. Вып. II. Стр. 91). А вот это писал сам Николай I Бенкендорфу в ответ на рапорт последнего об очередной провинности поэта: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно 20-летнему безумцу, не может применяться к человеку 35 лет, мужу и отцу семейства» (ibid. Вып. III. Стр. 131).

В самой тесной связи с мыслью о двупланности Пушкина находится утверждение Вересаева, что если бы Пушкин не был поэтом, то он был ничем, т.е. самым обыкновенным человеком, обывателем. В самом деле: если Пушкин

не един, а двупланен, т.-е. состоит из «олимпийского бога» плюс «меж детей ничтожных мира» и т. д., то понятно, что если из этого механического (не органического!) соединения вычесть «олимпийского бога», останется «ничтожество». Вересаев так и пишет: «Если мы представим себе других наших крупных художников лишенными таланта, то у большинства из них останется и еще что-то, что выделяло бы их из обывательской толпы. Мы легко можем представить себе Лермонтова, родился он на десять лет раньше, не случайным декабристом, Гоголя можем представить себе фанатическим монахом-аскетом, Толстого – религиозным сектантом в роде Сютаева, Достоевского – схимником типа Амвросия. Но что являл бы из себя в таком случае Пушкин?»

Мы берем на себя смелость ответить Вересаеву, что, не будучи поэтом, Пушкин мог бы быть замечательным историком, а на худой конец – просто «умнейшим человеком в России». Что касается Л. Толстого и Достоевского, то, проживи каждый из них не дольше того возраста, в котором погиб Пушкин, вряд ли Вересаев сделал бы о них свои предположения – о сектантстве одного схимничестве другого. Лермонтов, как известно, был настолько неколлективистичен, что, будучи студентом Моск. университета, держался там совершенно особняком и не принял никакого участия в начавшемся как раз тогда интенсивном студенческом движении (кружки), так, что нет никаких оснований для предположения о его возможном декабризме. Гоголь же, как известно, в последние годы своей жизни был явно ненормальным человеком, а клиническая ненормальность, в чем бы она ни выражалась, не может считаться каким-либо преферансом над обывательщиной.

Помимо внутренних противоречий, обусловленных порочностью основной предпосылки, в книге немало и таких, которые происходят просто от излишней поспешности. В статье «Об автобиографичности Пушкина» Вересаев резко бракует лицейские стихотворения Пушкина, как биографический источник (стр. 45), а в статье «В двух планах» он, забыв об этом, аргументируется как раз на лицейских, стихах для доказательства, что Пушкин еще смолоду знал «счастье ухода от живой жизни в мир светлой мечты» (Стр. 151 – 152).

В первой статье сборника, посвященной кропотливым разысканиям по вопросу о датировке элегии на смерть Ризнич, автор с большим (и для себя и для читателя) напряжением клонит к тому, чтобы доказать, что знаменитая элегия написана год спустя после того, как до поэта дошла весть о смерти Амалии Ризнич. Автор даже делает из этого обстоятельства интересный вывод о психологии пушкинского творчества, как вдруг на стр. 15 оказывается, что, может быть, элегия-то написана всего через несколько дней после вести о смерти Ризнич, и даже, мол, всего вероятнее, что именно так оно и было. Читатель остается в досадном недоумении: для чего же было огород городить?

В общем, к автору книги во многом применимы его же слова, сказанные им в этой книге о Гершензоне: «Метод его никуда не годится, но сам он так умен и интересен, так знает Пушкина и так трогательно любит его, так много думал над ним, что читаешь любую его работу: не соглашаешься подчас, ни с одним словом, всю статью испещришь вопросительными и восклицательными знаками, а прочтешь – и столько в голове поднимается вопросов...» (33).

Книга – неверная, но возбуждающая, и в этом ее значение.